

По ту сторону своей идеи

Чем больше я живу, тем больше сознаю, что диалог – не только поиск истины, но форма самой истины. И на свои собственные прошлые работы я смотрю как на реплики в диалоге. Логическая последовательность требует однозначных формулировок, а они всегда приводят к односторонности и необходимости противовеса.

За время моей довольно долгой жизни я постепенно научился понимать ограниченность и неполноту своих принципов, схем и необходимость противоположных идей в духе взаимного дополнения инь-ян, женского и мужского. Впервые я столкнулся с этой проблемой еще году в 1970-м, прочитав статью Л. Н. Гумилева по теории этносов, а отчасти даже еще раньше, в споре с В. Садуром, о котором еще расскажу. Мне бросилось в глаза, что Гумилев, как и я, уходит от марксистской схемы исторического процесса, но уходит в другую сторону, и возникает альтернатива двух теорий, каждая из которых частично верна. Я сохранял взгляд на историю как на единый процесс, но основным предметом исследования, вместо формации, у меня стала "субэкумена", то есть сложившийся в древности культурный мир, вселенский по своей религиозно-философской идее, а практически охвативший большой регион Старого Света. Если вынести за скобки проблематичные случаи, когда возможности субэкумены не были полностью реализованы (Византию, Иран, Тибет), то это христианский Запад, мусульманский Восток, Индия и Дальний Восток. Я подбирал факты, показывающие, что вселенская религия подчиняет себе племенные и народные культуры и превращает их носителей в христианские народы, народы ислама, народы ведической и конфуцианской традиций. Л. Н. Гумилев подбирает другие факты, показывающие противоположное: все суперэтнические конфигурации, вроде Римской империи, недолговечны и обречены на развал. Я думаю, что не все; хотя иногда и так бывает.

Порой этническое действительно поглощает вселенское. Самый яркий пример я разобрал в статье "О причинах упадка буддизма в средневековой Индии"*. Бывает также, что при формальной победе вселенского начала этническая обособленность пробивается в спорах монофизитов с дифизитами, православных с католиками, суннитов с шиитами, за которыми проглядывает армянский этнос, русский этнос, иранский этнос. Такие случаи надо разбирать поодиночке. Иногда силы, описанные Гумилевым, действительно очень мощны. Но я склонен сосредоточиваться на случаях взаимного проникновения культур и возникновения вполне здоровых "гибридов" (синтез индийских, китайских и автохтонных элементов в Тибете; арсийско-дравидская амальгама; впитывание буддизма в индуизм и индуизма в буддизм; впитывание буддийских элементов в неоконфуцианство; впитывание эллинской культуры в христианство, которое первоначально было чисто еврейским духовным движением). По-моему, научный спор может идти только об относительной важности тех или иных фактов, как в прошлом, так и в современном мире. Обе теории не вполне академичны и вносят в понимание прошлого реальные, лично пережитые события современности: с одной стороны, идет мощный, неуправляемый процесс глобализации; с другой яростное этническое сопротивление этому процессу.

Мне кажется, что ни то, ни другое нельзя однозначно оценить как добро или зло, "прогрессивное" или "реакционное". Этническое (и религиозно-этническое) сопротивление отстаивает святыни, которые стирает в порошок "цивилизация" в понимании Шпенглера (а не Тойнби), цивилизация, подминающая культуры, словно бульдозер – полотно художников андеграунда (пожилые люди помнят этот случай).

Я убежден, что устойчивая общность в любой политической форме невозможна без общего "неба общих святынь". Вселенская цивилизация требует вселенского духа; если говорить о современности, когда единое вероисповедание немислимо, – глобальная цивилизация толкает к

экуменизму и суперэкуменизму, к поискам общего духа в разных символах. Единый мир без единых святынь не приходит к солидарности, не находит выхода из своих противоречий. Инерция развития ведет к экологической катастрофе и войне между зоной "сладкой жизни" и зоной беспросветной нищеты. Но теория этносов, как я ее понимаю, предлагает спастись в одиночку, сохраняя каждый свое предание, – а я считаю возможным то, что назвал "диалогом пророческих монологов", перекличку и постепенное сближение разных ветвей единого религиозно-исторического процесса. Мне кажется, что только на этой основе может сложиться глобальная этика и найден общий подход к решению общих проблем.

Спор о прошлом перекликается с современными спорами; что сегодня побеждает – этническое или вселенское? Возможно ли вообще глобальное единство культуры? Как оно мыслимо? Или вовсе немислимо, "концерт культурных миров" – утопия и неизбежен конфликт западного постхристианского мира с миром ислама? А в нашей стране – новые и новые конфликты постхристиан с мусульманами?

Помимо теории этносов, мне противостоит здесь концепция "цивилизаций" (культурных миров) в редакции С. Хантингтона. "Каждый знает Чарлза Дарвина, – пишет об этом П. Н. Воге, – очень немногие – Петра Кропоткина... Еще менее известно, что он выдвинул альтернативную теорию движущих сил в развитии видов. Дарвиновской конкурентной борьбе Кропоткин противопоставил "взаимопомощь" и назвал так свой труд, где показал, что помощь индивидов друг другу не менее важна для эволюции, чем борьба за существование и право сильного.

Все более людей знают Сэмюэля П. Хантингтона, который в 1993 году изложил свою теорию борьбы цивилизаций. Очень немногие... знают Григория Соломоновича Померанца, который уже в середине семидесятых годов опубликовал свою теорию о необходимости диалога между культурами. Мир животных, несомненно, формирует не только взаимопомощь, но и борьба за существование, и борьба между цивилизациями – континентами – может на время оставаться фактом, но диалог между ними – требование, без которого немисливо выживание человечества и Земли. И то, что идеи Хантингтона стали руководящими для долгосрочной внешнеполитической стратегии Запада после окончания "холодной войны", не уменьшает необходимости диалога"**.

Прочитав статью Воге, я согласился, что концепция Хантингтона может быть принята как дополнение моей "теории субэкумен". Мое мышление культуроцентрично и неторопливо, я готов ждать века; мышление Хантингтона политикоцентрично и нацелено на короткую дистанцию. Ни одна точка зрения не исключает другой. Я исхожу из опыта Европы Нового времени и подчеркиваю единство ее культуры. Никакие распри не помешали распространению готики, ренессанса, барокко, классицизма, просвещения, романтизма из того или иного угла, где они возникли, по всем другим странам, и это единство в конце концов оказалось решающей силой, поддержавшей общеевропейскую солидарность в экономике и политике. На этом основано мое предположение, что возможно единство в форме диалога культурных миров, сохраняющих каждый свое лицо; я полагаю, что в подобном диалоге могут сложиться единые нормы глобальной солидарности, глобального этноса. Но если бы Гитлер имел атомное оружие, такой разговор был бы невозможен: вместо нынешней Европы, на пример которой я опираюсь, сложилась бы большая прусская казарма.

Будущее открыто неожиданностям, и моя концепция – только проект, за который надо бороться. В таком направлении работает Общество морального перевооружения. В 1998 году оно завязало диалог с мусульманскими фундаменталистами Газы. Один из них приехал на конференцию в Горном доме (Швейцария). Он с сочувствием выслушал доклад о столкновении культур и согласился с условиями сотрудничества, которые я предложил: Запад прекращает то, что на самом Западе получило название "засорение нравственной среды", а мусульманский мир осуждает террористические методы борьбы с кощунством. Я не переоцениваю важность единичного согласия. Оно тонет в миллионах противоположных примеров. Но на Кавказе даже

единичного факта диалога с ваххабитами, кажется, не было.

Если не решены проблемы диалога культур, возникают "хантингтоновские" проблемы. На короткой дистанции они все заслоняют, и главными действующими лицами становятся солдаты. Но на более долгой дистанции решение не может быть найдено без понимания друг друга. Надо уйти от сознания, которому "странно быть персом" (Монтескье).

Вернемся теперь к проблеме дополнительности между глобализмом и этноцентрическим мышлением. Для меня она открылась лет тридцать тому назад. Вскоре после того, как цензура заставила выдрать первый вариант теории субэкумен из журнала "Народы Азии и Африки" (1966), я показал машинопись статьи сослуживцу по библиотеке Валиахмету Садуру. Его возражения выявили то, чего я сам у себя не заметил: меня заботило только сохранение великих культурных миров; диалог этих миров представлялся мне достаточной альтернативой казарменному единству коммунистической империи и единству мирового рынка, в котором тонут непродажные ценности. Упадок и исчезновение ряда этнических культур меня не волновали. Возможно, в этом сказался мой личный опыт. Мне дорого чувство бездны у Тютчева, Достоевского – и мало трогают их почвеннические и славянофильские идеи. Мне одинаково близки буддизм дзэн, Майстер Экхарт, Ибн аль-Фарид и старец Силуан. Я живу в России, сроднился с ней и потому предпочитаю язык христианской традиции, но, если бы жил в Японии, цитировал бы Догэна и Хакуина.

Валиахмет Садр чувствовал и мыслил иначе. "Мы", с которым соотносилось его "я", – этническое, и он болезненно переживал размывание татарской культуры. Садр объяснил мне, что современная система образования безо всякого насилия денационализирует татарина, превращает его в русского интеллигента татарского происхождения, думающего по-русски, пишущего стихи по-русски. Я угадал, что этот вопрос имел политическое измерение, и спросил, что он предпочитает: расширение автономии Татарии с учетом всех ее забот или полную независимость? Садр замялся (дело было задолго до перестройки), но потом улыбнулся и откровенно ответил: полную независимость; но без выселения русских из Казани и татар из Москвы.

Пафос этнического самосохранения одухотворяет и теорию этносов. Не случайно книга "Этногенез и биосфера" впервые была опубликована в Прибалтике (в Москве мешал ее слишком явный антимарксизм). Так же не случаен эпизод, имевший место при публикации моей "Теории субэкумен" в парижском журнале "Диожен" в самом конце семидесятых. Редактор, господин Кейноа, попросил меня выбросить раздел, посвященный разбору и критике теории этносов как альтернативы моей схеме. По его словам, эта теория совершенно неинтересна читателям. Я выкинул пару страниц, но задумался: чем объяснить резкое различие читательского интереса в Париже и Москве?

Видимо, идеи Гумилева были чужды Европе, захваченной процессом интеграции; а живой интерес к этническому в Советском Союзе говорил о начавшемся процессе духовной (политически еще не выраженной) дезинтеграции. Поэтому западному читателю бросаются в глаза белые нитки, которыми сшита теория этносов, и не хочется даже обсуждать ее; а в нашей стране сами слабости теории этносов идут ей на пользу и помогают стать своего рода слабостью образованного общества. Ибо широкой публике нужна не столько строгая научная теория, сколько "научная идеология", идеология в форме науки; и публика получила то, что ей было нужно.

Мне кажется, что развитие событий подтвердило мою догадку. Разрушение советской системы шло из ее центра, из Москвы. Политически ее разрушал идеолог партии Суслов своей хитроумной тактикой национализма для русских и интернационализма, скажем, для чехов (цинизм этой политики слишком бросался в глаза). А русская национальная интеллигенция,

раненная разрушением традиций в советской "антисистеме", увлеклась идеями, разрушавшими империю духовно.

Мне стоило некоторого труда убедить товарища по лагерю – довольно известного сейчас писателя, – что без коммунистической идеи большая Россия (названная Советским Союзом) непременно развалится. Когда Ф. это понял, то простил коммунистам шесть лет, проведенных в лагере ни за что ни про что, и стал уважать Сталина. Подобный зигзаг проделал впоследствии А. Зиновьев. Критикуя "Зияющие высоты", власти не ведали, что творили. Не ведал этого, по моему, и Л. Н. Гумилев. Между тем его теория этносов в плане идеологии была чем-то вроде соглашения трех славян в Беловежской Пуще. Гумилева и Ельцина вел один и тот же дух времени.

Какое-то время я думал, что повышенный интерес к теории этносов – чисто советский феномен. Однако ряд событий показал, что господин Кейноа ошибался: европейцам следует изучать Гумилева, без этого им трудно понять психологию балканских и других подобных междоусобиц. Аналогия между Гитлером и Милошевичем, по моему, нелепа. Германия Гитлера отказалась от категорического императива Канта ради этики Ницше. Это было чудовищным и до сих пор не совсем объясненным падением цивилизации в эпоху племенных войн, когда геноцид был нормой, запечатленной в Библии (книга Иисуса Навина), в "Повести временных лет" и других древних текстах. Балканы же часть физической карты Европы, но в культурологическом плане – реликт Османской империи, и если Европа с изрядным равнодушием смотрела, как турки постепенно привыкают к современной цивилизации (а пока что режут армян и душат курдов), то почему такое нетерпение к сербам? Потому что Сербия не член НАТО? Объяснение бомбежек плохим характером Милошевича наивно (если не лицемерно). Западники в Сербии довольно слабы; а если бы на выборах победил Шешель, политика Белграда не переменялась бы. И не в одних сербах дело, все народы Югославии стоят примерно на одном уровне. Мы столкнулись здесь с фактом этнической лихорадки, которую не просто охладить, и военный успех НАТО в одном районе, политически и географически удобном для ударов современного оружия, вряд ли улучшит общее положение в мире.

Теория этносов стоит того, чтобы ее понять. По своему образованию Гумилев тюрколог; жизнь племен, кочевавших между Китаем и Европой, он знал профессионально и до какой-то степени сроднился с ними. Однажды я увидел его в коридоре Института востоковедения и спросил: "Лев Николаевич, почему вы симпатизируете Чингисхану?" Он ответил мне: "Чингисхан не любил стукачей".

Впоследствии я нашел у О. Латимера некоторые сведения, пояснявшие эту реплику. Китайская дипломатия плела интриги, натравливая племена друг на друга и не давая им объединиться для набега. Во время одной из междоусобиц была похищена жена Темучина (будущего Чингисхана). Он отбил свою подружку, но так и не смог узнать, от кого зачат ее первенец. Свою обиду Темучин не простил и всю недюжинную волю посвятил одной цели: создать небывалый по мощи союз кочевников и уничтожить очаги коварства, очаги вселенского зла – центры оседлой цивилизации. Это тот подлинный нравственный пафос, с которым простодушные варвары повсюду обличали рафинированные цивилизации; в словах пророков о Вавилонской блуднице звучит та же страсть.

Теория этносов переносит в область идей то, что варвары делали мечом. Историю Индии и Китая она рубит на куски по мере очередных набегов. С точки зрения Гумилева, китайцы и индийцы до V-VI вв. – это одни этносы, а после другие. Единства великих культур, покоривших своих завоевателей, для него не существует. Идеи и символы не очень много значат. Решает пассионарность, страстность. Когда пассионарность гаснет, этнос, созданный ее энергией, разваливается. Теория не объясняет, почему Будда, свободный от страстей, наложил более глубокий, долгий отпечаток на Азию, чем Чингисхан и Тамерлан, почему потомки Чингисхана

стали буддистами в Китае и мусульманами в Иране? Христианство Гумилев уважал как народную религию России, как веру отцов, но не понимал вселенского пафоса Нового Завета и приписывал Христу антиеврейские высказывания (например, риторическая фраза "Дьяволу вы поклоняетесь" толковалась им буквально). Сквозь его теорию этносов просвечивает отвращение к "пролетарскому интернационализму", слитое с отвращением к фактически сложившейся русско-еврейской амальгаме в правящей элите 20 – 30-х годов. Это довольно распространенные настроения, легко прочитываемые и в трудах другого крупного мыслителя, Лосева. Отсюда тяготение к отрицательным примерам еврейского участия в истории, часто воображаемым. Л. Н. Гумилев не только теоретик этнических страстей; он замечательный пример этих страстей.

На теорию этносов также повлияли отголоски идей евразийства, Шпенглера и Макса Вебера. Невозможно строго установить, вполне ли самостоятельно Гумилев выстроил свою теорию пассионарности или просто пересказал, на свой поэтический лад, сухую веберовскую теорию харизмы. Сходство поразительное: пассионарий (страстный зачинатель нового) – аналог веберовского харизматического вождя. Консорция (подобие брака по страстной любви) аналог группы учеников пророческих, маршалов Наполеона и т.п. Переход от консорции к инерционной конвексии – аналог "рутинизации харизмы" (первый папа, апостол Петр, получил харизму от Христа; остальные наследуют ее по должности). Однако не менее существенно различие: Вебер объясняет некоторые исторические явления, Гумилев дает, как некогда Маркс (и вслед за ним Плеханов), "монистическое" объяснение истории. Такое объяснение превращает науку в идеологию. Но идеология этносов также глубоко интересна.

Творчество Гумилева всем своим страстным тоном, всеми своими гиперболами и даже передержками вводит в недра двух процессов: этнического сопротивления глобализации и сопротивления малых народов формированию больших наций. Поэтический слог Гумилева позволяет почувствовать – а это больше, чем понять, – почему тутси и хуту, сербы и хорваты убивают друг друга, почему не щадят ни своих, ни чужих жизней чеченцы. На одной из встреч в Швейцарии, слушая горячую речь хорватки, настаивавшей на том, что она хорватка, а не югославка, я вспоминал Гумилева. Но его теория этносов заводит в тупик, когда мы начинаем искать выход из порочного круга кровной мести. Она становится ложной, когда превращает описание некоторых случаев исторического процесса во всеобщий закон. Здесь мы должны выйти на уровень бесстрастия, побеждающего страсти, на уровень духа, парящего над различиями букв, символов духовности. И в этом споре интересны возражения, с которыми я столкнулся на "круглом столе" в Горном доме, о котором уже упоминал.

Первое возражение было высказано с позиций православного фундаментализма: "Проповеди пророков, которые вы упоминали, – сказал о. Андрей Кураев, – строятся на том, что Бог им сказал: "Я не вот это. И вот так обо Мне думать нельзя". Когда даосская традиция утверждает, что инь и ян едины, едины добро и зло, свет и тьма, а апостол Иоанн утверждает нечто противоположное: "Бог есть свет, и нет никакой тьмы", – нельзя не замечать несовместимость этих позиций. Когда начинается диалог между религиями, очень важно не выпасть из диалога с Богом, в котором Бог не только пассивен, не только претерпевает наши умствования, но все-таки способен их и скорректировать".

Здесь просматривается довольно обычная некорректность в понимании Дальнего Востока, которую хочется сразу же разъяснить. Архаическое значение слова инь – влагилище, ян – член детородный. На этой основе наплаивались ассоциации: женское и мужское, текучее и твердое, воды и горы (отсюда символика дальневосточного пейзажа), тьма и свет. В таком контексте тьма и свет – просто ночь и день, без нравственной оценки. Ночь после жаркого дня может быть нежной, ласковой, желанным отдыхом от труда, от битвы. Нельзя путать метафорику Библии с фактами. Для китайца белое – знак траура, для европейца – знак невинности. Это не свойства цвета, это условности культуры.

С первой путаницей связана вторая: смешение философско-религиозного выхода за противоположность добра и зла с безнравственностью. Пушкинский Пимен пишет свою летопись, "добро и злу внимая равнодушно". Это иногда прямая обязанность историка, философа и богослова.

Бог Библии поддерживает различие добра и зла в людях, но сам по ту сторону наших представлений о добре и зле. Ответ Бога Иову – вознесение Иова на высоту, где вопросы Иова не получают ответа, а просто исчезают. Высота Божьего ответа, глубина Божьего бытия (слова "высота" и "глубина" здесь равноценны) – абсолютное благо. На глубине бытия зла нет, писал Августин. Но нет там и добра как противоположности злу. И на последней глубине апофатического (негативного) богословия, когда Бог описывается отрицанием всех его предикатов – в том числе благодати, – христианство приближается к восточным религиям.

Однако о. Андрей не упоминает апофатики. Он остается на почве катафатического (положительного) богословия, близкого к катехизису. В рамках такого богословия можно было бы с ним согласиться. Но, к сожалению, слова, приписываемые непосредственно Богу, противоречат друг другу. К сожалению, мысль изреченная есть ложь; всякое слово не только выражает, но искажает мысль. И чем сложнее предмет, тем труднее назвать его. Точно можно назвать корову. Нельзя точно высказаться о Боге или передать Божью мысль. Духовный посыл, пройдя через сознание пророка, приобретает отпечаток личности, языка и культуры, а они различны. И выходит, что Бог говорил иногда одно, иногда другое.

Вполне логичен только мусульманский фундаментализм. Коран признается предвечным, созданным до неба и земли и только продиктованным Мохаммеду с некоторым опозданием. Поэтому каждое слово Корана незыблемо. Напротив, христианское предание сложнее. Оно включает и Ветхий и Новый Завет. Христос не отменял Закона, данного Моисею. Он прямо завещал строго выполнять Закон. Закон нарушил апостол Павел, упразднив обычаи, мешавшие пропаганде среди язычников, и оправдал это принципом, вошедшим в Новый Завет: "Буква мертва, только дух животворит".

Авторитет Христа выше авторитета св. Павла; но если прав Павел и он действовал в духе Христа, то утверждено святое сомнение в "букве", в словах Святого Закона. Это святое сомнение развил наш современник (или, по крайней мере, мой современник: он умер в 1938 г.): "То, что написано Святым Духом, можно прочесть только Святым Духом". Слова св. Силуана не очень далеки от джайнской притчи о слепых, ошупывающих слона и не способных познать слона в целом. Догмы разных течений могут быть поняты как отождествление слона с его хоботом, ногами, брюхом, клыками. Они не ложны, но неполны, и Святой Дух просвечивает во всех. И во всех он не каждому дается.

Вторая серия возражений была высказана мне с позиций "гумилевского фундаментализма". Принцип его провозгласил Владимир Леонидович Махнач: "Я напомню о неприятной категории, введенной в науку Львом Николаевичем Гумилевым и разрабатывавшейся потом мною. Категория – антисистема, то есть религиозно-идеологическая система, разрушительная для социума и этноса. Я убежден, что все синкретические эффекты суть антисистемы.

Я всю жизнь был сторонником глубочайшего уважения религиозного диалога и мог всегда вести диалог с католиком, мусульманином, иудеем, буддистом (видимо, на бытовом уровне. – Г. П.).

Все это опробовано в моей жизни. Но я твердо говорю студентам: господа, все это так, но если вы слышите от человека, что он христианин и буддист одновременно, перед вами злодей или в лучшем случае дурак, наслушавшийся злодея. Потому что каждая подобная конструкция достигается ценой изначальной лжи, а следовательно, предполагает и разрешает ложь и впоследствии. По Гумилеву, это внутренняя разрешенность лжи, как у каких-нибудь

альбигойцев. Но она дается только ценой изначальной лжи, без чего совмещение несовместимого просто невозможно. Христиане – материалисты. Мир – реальное творение Божье. Для последовательного буддиста мир – это Майя (иллюзия). И это никак невозможно примирить, хотя можно относиться при этом к буддисту с искренней симпатией и жить с ним не только в мире, но и в дружбе".

Я не думаю, что Владимир Леонидович сознательно оскорблял память Рамакришны и Вивекананды, почитавших и Будду, и Христа, и Дургу; он просто не вспомнил о них. Но дело не только в этом частном примере. В схему Гумилева-Махнача не помещается опыт целых континентов. Традиционный японец одновременно исповедует буддизм и синтоизм. Если буддийский бонза заедет на свадьбу, его могут побить. Свадьбу играют с жрецом синто, а на похороны приглашают буддийского монаха. Кроме того, по крайней мере в период Токугава (XVII-XIX вв.), каждый японец обязан был освоить основы конфуцианской морали. Примерно такое же положение существовало в традиционном Китае. Оно было закреплено в XV в. императорским эдиктом, признавшим Великого мудреца Куна (Кунфуцзы), мудреца Лао (Лаоцзы) и Будду небесными покровителями империи. Социум и этнос от этого не пострадали.

Синкретизм много веков существовал в Индии. Закончился он поглощением буддизма индуизмом, впитавшим в себя, в свою очередь, ряд элементов буддизма. В Тибете дело шло иначе, завершившись поглощением местных традиций буддизмом и формированием особой формы буддизма-ламаизма. Вообще двоеверие не извращение, а естественная форма религии, рассматриваемой не как застывшая догматическая система, а как процесс. Двоеверие веками существовало в России и привело к тому, что порося перекрестили в караса и он стал постным. Я имею в виду березовые ветки на Троицу, крашеные яйца на Пасху, поминки. В Якутии двоеверие сохранялось еще при В. Н. Короленко. Шаманизм назывался черной верой, православие – белой. Двоеверие существовало и в ранней Византии, в результате чего митраистский праздник солнцеворота перекрестили в Рождество Христово и ввели почитание икон. Плетью обуха не перешибешь!

Средиземноморские народы, прошедшие через эллинизм, не могли почитать Бога без зримого образа. Попытки иконоборчества (и в VIII в., и в XVI в.) неизменно проваливались там, где традиции эллинско-римской культуры были очень сильны, и почитание икон восстанавливалось с большой кровью. Хотя о. Андрей не даст мне солгать: ни Иисус Христос, ни апостол Павел не отменяли заповеди "не сотвори себе кумира", и на прямое слово Бога, как Его не следует почитать, церковь попросту закрыла глаза.

Наконец помимо массового, народного синкретизма существует еще взгляд мистиков поверх догматических различий, как у суфиев. Суфизм создал замечательную традицию поэтического подступа к целостной истине. Трактовать эту традицию как внутренне ложную, по-моему, немислимо. Сопротивляется непосредственное эстетическое чувство: то, что возвышенно прекрасно, не может быть ложным. "Мир красота спасет", – сказал князь Мышкин. И невозможно отрицать, что суфизм резко отходит от ортодоксального ислама в сторону метаконфессиональности. Особенно отчетливо это выражено у аль-Халладжа (X в.): "Я глубоко размышлял над всеми религиями и нашел, что они многочисленные ветви ствола, имеющего один корень. Не требуй от человека, чтобы он исповедовал определенную веру, ибо в этом случае он лишь отдалится от своего прочного корня. А ведь корень (то есть Бог. – Г. П.) ищет человека и указывает ему величие и значение всего, и лишь тогда человек их сознает"***.

Вера аль-Халладжа – не конструкция, созданная умом. Это умозрение, основанное на мистическом опыте. Аль-Халладж пережил свое единство с "корнем", и его вопль экстаза "Я – истина" был таким же кощунством для правоверных, как слова Христа "Я есмь истина", "Я и Отец одно", и привел к тому же: к мучительной казни. Суфизм вынужден был ограничить себя, не допускать публичных признаний такого рода. Но идея единого корня осталась на грани

разрешенного и запрещенного, и мы находим ее высказанной и позже, у Ибн аль-Араби, у Джалаледдина Руми. Ограничусь тремя фрагментами из Араби.

1) "Тот, кто поклоняется Богу как Солнцу, воспринимает его в виде Солнца. Тот, кто почитает Бога в живом существе, принимает Его за живое существо. А тот, кто видит его в неживом предмете, почитает Его как неживой предмет. Не надо следовать только за какой-нибудь верой, поскольку по этой причине вы теряете веру в другие предметы. Бог, который находится всюду и везде, не ограничивается только одной верой".

2) "У каждого человека обязательно есть некое представление о Господе своем, в соответствии с которым он к Нему обращается и желает увидеть Его. Если Бог так и проявляется ему, то он Его узнает, а если проявляется иначе, он его отрицает и бежит от него, спасаясь. Так дурно поступает он по отношению к Нему, думая, что поступает благопристойно".

3) "Вера содержит ту истину, форму которой приняло сердце и которая открылась сердцу, чтобы быть им познанной. Глаз видит лишь истину своей веры... Тот, кто привязывает Бога к какой-либо вере, отрицает Его в любой вере, отличной от той, с которой он Его связал... Но тот, кто освобождает Его от связанности, тот вовсе не отрицает Его, но утверждает Его в каждом облике, в которое Он превращает себя"****.

Эти мысли не могли выйти за узкие рамки кружка мистиков-мыслителей. Они опирались на стихи Корана, в которых Мохаммед с уважением говорил о своих предшественниках – Аврааме, Моисее, Иисусе, но шли дальше Мохаммеда. И суфии все время подвергались угрозе обвинения в ереси. Однако радикальный суфизм существовал, оставил заметный след, и след этот не стерся. В нашей стране он неощутим среди ревнивых неопитов в Чечне, но я сталкивался с ним у старых мусульман из Татарии. Это факты. Их нельзя упразднить. Этническая и конфессиональная замкнутость не является универсальным законом.

На "круглом столе" в Швейцарии я не успел с ходу вспомнить много примеров и задал одному из оппонентов, Владимиру Кирилловичу Шохину, только частный вопрос: "Как быть с таким явлением, как иудео-христианство, которое действительно имело место в истории?" Владимир Кириллович ответил: "А это как раз и есть тот самый случай, когда хотели, чтобы ничего не упустить, совместить несовместимое, но получился кентавр и даже четырехголовое "превращение". Речь идет прежде всего о так называемых елкезаитах, религиозном течении II в., которые считали себя христианами, признавая необходимость Моисеева закона о субботе и обрезании и увлекаясь одновременно гностическими рассуждениями о том, что в Христе имело место временное соединение Божества со свойствами обычного человека, а также и языческим почитанием натуральных стихий. Естественно при этом, что эти "христиане" отрицали авторитетность некоторых ветхозаветных текстов, а также и всех посланий апостола Павла. Последнего они невзлюбили по вполне понятным причинам, ибо он прямым текстом высказал то, что эклектиков в наименьшей мере устраивало: "Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона". Как и всякая эклектическая конструкция, иудео-христианство распалось достаточно быстро, и последние свидетельства о его следах теряются к IV-V вв. Бывали, правда, да и сейчас существуют попытки совместить несовместимое. Но они обречены..."

Обречены эти попытки или нет – вопрос, который решит будущее. А. В. Мень считал, что иудео-христианство возможно. Однако обратимся к истории, к тому, что уже было.

Трудно понять, почему иудео-христианство есть "прежде всего" одно из течений II в.? Рискую предположить, что по одной причине: именно это течение понадобилось Л. Н. Гумилеву для построения теории "антисистемы". На самом деле подобных сект было полно в истории церкви – до самого никейско-константинопольского символа веры и даже после. А иудео-христианство,

если взглянуть на него без предвзятости, просто первоначальное христианство, чисто еврейское по плоти и духу, не знавшее об "ипостасях" и других тонкостях византийской мысли. Иосиф был для него физическим отцом Иисуса (об этом говорит родословие Христа, уцелевшее в Евангелиях). Легенда о непорочном зачатии еще не возникла, а когда начала складываться, то встречала возражение, основанное на арамейском языке, где дух – женского рода: "не может женщина зачать от женщины". Подобно самому Иисусу, иудею, христиане соблюдали субботу и обрезание. Отказ Павла от закона, который Иисус заповедал хранить, был для них кощунством. И выветрилось иудео-христианство не потому, что совмещало несовместимое: несовместимости византийского богословия и еврейского Талмуда еще не сложились. Роковой причиной был отказ совмещать несовместимое, сохранение еврейской замкнутости от необрезанных. В обстановке возникшей полемики вероисповеданий это было безнадежной позицией.

Несовместимое совмещал Павел. Не было для него во Христе ни эллина, ни иудея. Хотя только что, при том же Тиберии, когда распяли Христа, александрийские эллины вырезали пятьдесят тысяч иудеев, и кровь мучеников вопияла о мщении. Трудно представить себе более ужасную ситуацию для единства. И все же оно состоялось.

На совмещении несовместимого основано было впоследствии святоотеческое мышление. В христологических спорах оно постоянно совмещало Бога и человека, отчетливо различаемых рассудком. Для этого созданы были категории, позволившие мыслить противоположности как целое, и не противоречивое целое, где противоположности борются по Гегелю и Марксу, а гармоническое единство. С тех пор богословы говорят о единосущности и равночестности ипостасей Троицы и неслиянности-нераздельности природ Христа, божеской и человеческой. Я попытался показать, что эти категории могут быть использованы не только в богословии, а при подступе к любой целостности (личности или, допустим, религиозно-исторического процесса). Если Отец и Сын единосущны и равночестны, если Бог и человек соединены в Христе неслиянно-нераздельно (нарушая логику Аристотеля), то почему не может быть мыслима единосущность и равночестность мировых религий, почему нельзя предположить неслиянно-нераздельное единство глобальных святынь?

Модель антисистемы основана на универсальности аристотельских норм.

Л. Н. Гумилев в этом отношении чересчур западник. Я не хочу сказать, что его полемическая модель ничему не соответствует. Она очень хорошо описывает многое в советской жизни, в том числе уже упомянутый суловский национализм для русских (именуемый военно-патриотическим воспитанием) и интернационализм, кляпом запикиваемый в рот венграм, чехам, афганцам. Вся советская идеология действительно основана была на лжи и втайне предписывала ложь. Политическая система, основанная на ней, действительно кончилась полным крахом, оставив трудно заживающие язвы ненависти к России, из столицы которой управлялась. Но религия – совершенно другое дело. Здесь действует дух, открыто перешагивающий через логические противоречия. Ибо мудрость века сего – безумие перед Господом, писал Павел.

Я несколько раз задавал и задаю снова вопрос: как теория этносов может объяснить гениальный выход ап. Павла по ту сторону этнического и конфессионального сознания? Как понять соединение еврейского Бога вне образа и эллинского в человеческом образе? Ответа я ни разу не получил. Думаю, что мешает идеологический императив: обходить факты, разрушающие сознание "несравненной своей правоты". Ленин (гениальный идеолог, хотя очень посредственный философ) совершенно правильно различал "факты" и "фактики". То, что ставит под вопрос идеологию, – это "фактики". Ими всегда можно пренебречь.

Идеология настолько вошла в научное мышление В. Л. Махнача (к которому я возвращаюсь), что интеллектуальную проблему, возникшую для меня в построении теории субэкумен, он воспринимает идеологически (или, если угодно, аксиологически) – как недостаток уважения к

святыне:

"В одной из своих статей Григорий Соломонович Померанц усомнился в том, что существует восточнохристианская, или византийская великая культура, но тот же Тойнби в этом не сомневался, и я придерживаюсь этой точки зрения. Спрашивают: а что такое Византия? Культурный мир, которому просто не везло, и случай произошел – ее сломали, или это культурный мир, который в себе самом заключал возможность падения? И в связи с этим ставится вопрос: а чем является Россия? Является ли она наследницей Византии, большого культурного мира, или ее путь – путь развивающейся нации в Европе?"

Я никогда не сомневался, что Византия – одна из великих "цивилизаций" в том расплывчатом смысле, который вложил в это слово Тойнби. Речь у меня идет о другом: полностью ли Византия отвечает определению, которое я дал субэкумене? В моем понимании, субэкумена – звено в переходе от племенных и народных культур к вселенской; это временная остановка процесса, случившаяся в раннее Средневековье благодаря тогдашней невозможности преодолеть горы и пустыни, разделявшие культурные миры. Это устойчивая коалиция культур, информационное единство которой создают язык и шрифт Священного Писания и связанная с эстетикой шрифта эстетика пластических искусств. Своего рода границы субэкумены (подвижные в пространстве) – это общность латинского шрифта, арабской вязи, шрифта деванагари на индийском Востоке и иероглифов на Дальнем Востоке. Единство шрифта – плоть субэкумены, так же как единство символов священного – ее дух.

Византия создала несравненное по художественной строгости стилю единство символов Священного, но распространила его только как икону и литургию, православие передавалось без греческого языка. Общность информации очень слабо осуществлялась переводами. Россия до XVIII в. не знала "Добротолюбия" – собрания богословских текстов, выразивших дух восточного христианства в отличие от западного. Поэтому уровень богословия в Древней Руси был очень невысок – и еще больше снизился после победы иосифлян (учеников преп. Иосифа Волоцкого) над учениками преп. Нила Сорского и разрома заволжских скитов "нестяжателей".

Об уровне русского православия говорит раскол – из-за смутного чувства подмены святыни, вызванного реформами Никона. Удовлетворительное объяснение этой исторической загадки я нашел только в "Розе мира" Даниила Андреева. Культуру Древней Руси с ее поразительными иконами и фресками не зря называли немой.

Духовно смутным было и сопротивление петровским реформам – пока само западное просвещение не дало славянофилам язык, познакомив с философией немецкого романтизма. С Запада же Россия получила и греческий язык, и древних классиков: Византия их держала про себя.

Какая-то ущербность есть и в истории постепенного политического упадка Византии. Военные поражения – дело случая, но Византия не умела учиться на своих поражениях. Она слишком была уверена в безупречном совершенстве своей культуры. Между тем социальная и политическая структуры ее были далеко не так совершенны, как икона Владимирской Божьей Матери.

Россия научилась необходимости реформ на собственном горьком опыте; ее история – прямая противоположность византийской. Наша страна трижды меняла свою культурную ориентацию. Наша культура – луковица, в которой татарский слой лежит на византийском, западный – на татарском. Противоречиво, "антисистемно", грозит развалом, смутой – но живо, но толкает к развитию, к обновлению. Византия всегда была верной раз навсегда достигнутым образцам и очень мало менялась. Это идеальная "система" в гумилевском смысле, и она медленно погрузилась в Лету.

Наконец, последнее по счету, но не по важности: племена, вторгавшиеся в Китай, становились китайцами; венгерская орда, терроризировавшая Европу, стала европейской нацией; Иран, трижды завоеванный – арабами, монголами, тюрками, – создал великую культуру, покорившую своих завоевателей, и персидский язык несколько веков был общим светским языком мусульманского мира, оттеснив арабский в богословие. Византия, потеряв государственность, потеряла все, умерла. Не говорит ли это о некоторой неполноценности культуры, о подавлении творчества "симфонией" государства и церкви?

После падения Константинополя на Руси возникла идея Третьего Рима. Но этот Рим с самого начала мыслился как третий (а не простое продолжение второго). И осуществился имперский замысел совсем не на путях византийской цивилизации. Российская империя училась у европейских наций. Она никогда не стала духовным центром для других православных народов, центром православной субэкумены. Православные народы поодиночке входили в Европу. Формы жизни, вводимые в России, – те же, которые потом вводились в Болгарии и Румынии, – это европейские формы.

Синявский писал в "Голосе из хора", что Россия наполняет заимствованные формы неким мощным духом, но сама их не создает. Я могу сказать, что Достоевский и Толстой превзошли европейских романистов, как Рублев византийских иконописцев, но сами формы русской культуры петербургского периода – не византийские, а западные. Византийский пласт нельзя выкинуть из русской "луковицы", но не он определяет ее в целом. Русская культура гибридная, несущая в себе возможность новых сдвигов. Сумеет ли она творчески освоить святоотеческое мышление и внести его в мировой духовный процесс открытый вопрос. Но это вопрос русский, а не византийский.

Таким образом, вопрос о мировом значении Византии переходит в вопрос о России, в традиционный вопрос: что делать? Он распадается на множество вопросов, и не все мне понятны. Я уверен только в одном: надо вырваться из тупика, описанного Анной Ахматовой в стихотворении "Разрыв":

...И до света не слушаешь ты,

Как струится поток доказательств

Несравненной моей правоты.

Любовную связь можно порвать; Россию разрывать – безумие. И хочется понять истоки нашей глухоты друг к другу. Отчасти ее объясняет разнородность начал русской культуры, она создает практические трудности в поисках тождества с самим собой. Достоевский заметил, что в Европе, особенно во Франции, каждому человеку доступна "приличная форма", в России же "приличная форма" доступна только гениальности. Это очень глубокая мысль. Византийское православие трудно сочетать с динамической современностью, а привычки, идущие со времен Батыея, с европейскими правами. Тождество с самим собой достигалось в романах, потрясавших мир единством, проступавшим сквозь всю мглу противоречий. Но на уровне обычного русского интеллигента, думающего о России, торжествовала, скорее, ложная идентичность, страстная приверженность одному принципу в ущерб другим. Эту ложную идентичность В. Л. Махнач приписывает и мне. Но он ошибается: я не считаю Россию всего лишь развивающейся страной в Европе. В России заложено много других возможностей, и творческих, и разрушительных.

Вестернизация пробудила восточные культурные миры, существовавшие раньше как бы на других планетах. Они втянуты в общий диалог, захвативший и святыни религии. Фундаменталисты могут с этим не соглашаться – это их право. Значит, с ними диалог пойдет

только в обход религиозных различий. И вместо глобальной этики (связанной с религией) сегодня мыслим лишь глобальный этикет (на "круглом столе" идея такого этикета была сочувственно принята). Диалог религий всегда был уделом меньшинства, способного мыслить веру на уровне аль-Халладжа, поверх различий, созданных богословием. Остается он делом меньшинства и сегодня. Но я убежден, что диалог культур в конце концов охватит и запретные зоны. Диалог нельзя остановить, нельзя ограничить. Альтернатива диалога – не замкнутость (она недостижима), а синкретизм, беспорядочное усвоение иглоукальвания, у-шу, хатха-йоги и т. п., одновременное празднование западного Нового года и года Зайца.

Политический раскол XX в. на коммунистический и некоммунистический мир только маскировал этот великий процесс, и так же маскирует его временное всевластие Запада. Фукуяма ошибался – история не кончилась, и не сводится она к борьбе Америки с мусульманским фундаментализмом. Как бы ни был серьезен вызов фундаментализма в ближайшие 20 – 30 лет, главное – не это. Идет соревнование культурных миров и отдельных культур в решении глобальных проблем – экологических, социальных, духовных. В этом глобальном диалоге возможны и русские реплики, русские находки. Но для того, чтобы нас услышали, надо и нам прислушиваться к голосам других и отвечать впопад. Не только Западу, но и Японии, Китаю, Индии. И прежде всего – прислушиваться друг к другу, к исповедникам разных слоев русской "луковицы".

1 См. в кн.: Г. Померанц. Выход из трансa. М., 1995.

2 Waage P. N. Dialog zwischen den Kulturen. "Goetheanum", Dornach, Jg.78, N 27, 4. Juli 1999.

3 "Суфийская мудрость". Минск, 1998. С. 56-57.

4 "Суфийская мудрость". С. 156, 159, 165.